

волизма – и обрели там новую жизнь, трансформируясь до неузнаваемости в художественные образы, идеологические ориентиры" (с. 382).

Наконец, еще об одной проблеме, поднятой в книге. Она четко выражена в словосочетании "советское неокантианство". Дмитриева шаг за шагом прослеживает, как зрелая, в том числе и неокантианская, мысль воздействует на умы перекормленных идеологией российских философов-марксистов, как они "и под игом темных чар" сохраняют дух научности, обращаясь к заново творчески прочитанному Канту.

Думаю, что книга Н.А. Дмитриевой вызовет интерес не только у узких специалистов, но и у всех читателей, интересующихся историей новейшей отечественной философии. Один лишь справочный аппарат и, прежде всего, список литературы к этой книге, занимающий по объему более 4 печатных листов, заставит исследователя неизбежно обратиться к этим источникам, как и к тем архивным материалам, которые впервые представила автор книги.

В.Н. Белов

Vladimir KANTOR. *Willkür oder Freiheit? Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie.* Ed. von Dagmar Herrmann. Stuttgart, ibidem-Verlag, 2006. 334 S.
Владимир КАНТОР. *Произвол или свобода? К русской философии истории*

Выход книги русского философа на немецком языке, переведенной слависткой Дагмар Херрманн, кажется, лучше всего оправдывает ключевую мысль автора о "русском европейце" как задаче России и органично встает в один ряд с сочинениями А.И. Герцена или Ф.А. Степуна. Сборник состоит из статей, объединенных одной темой и образующих единое высказывание.

Читая перевод книги, сталкиваешься с двойным эффектом отстранения. С одной стороны, отмечаешь ее совершенную инаковость по отношению к немецким исследованиям, включая стиль, литературно-философский и исторический материал, манеру цитирования, другую научную культуру. Немецкий читатель получает шанс соприкоснуться с живой мыслью в России, осмысляющей собственные исторические условия и ищущей диалога на общей европейской почве – настоящий подарок для западной славистики, которая переживает сейчас не лучшие времена. С другой стороны, осуществляя обратный перевод с немецкого языка на русский, понимаешь, сколь много выиграл бы русский читатель, имея он возможность проделать то же самое. Книга избавляет, например, от необходимости различать между "российским" и "русским" (нем. *russisch*), позволяет критически отнестись к популярным строкам поэта о непостижимости России и вообще отказаться от многих вроде бы самоочевидных вещей.

Не случайно книга открывается критикой национального мифа непостижимости русской души. Решить русские проблемы с помощью "западного силлогизма" (Чаадаев) невозможно – эта иллюзия, родившаяся из попыток философов и писателей осмыслить судьбу России, оказалась весьма живучей и удобной. В. Кантор прослеживает ее развитие от "программного для русского национализма" (с. 11) стихотворения Ф. Тютчева "Умом Россию не понять..." до советской "культуры отказа от самопознания" (пример писем трудящихся: "Я не читал Пастернака, но знаю, что он наш самый злейший враг"). Согласно автору, мы имеем дело со сложным комплексом самоуничижения и гордости. Сегодняшние постмодернисты тоже исходят из принципиальной непостижимости русской жизни; они пародиру-

ют советскую действительность (Д. Пригов), но отказываются анализировать национальные проблемы и противоречия. В противовес им приводятся слова О. Мандельштама о необходимости "европеизировать и гуманизировать XX столетие". Поэт оказался прозорливее многих ученых современников, которые обвиняли во всех наших бедах рационализм западных теоретиков. Дело не в том, чтобы обвинять их или оправдывать, а в том, что "наша жизнь долгое время основывалась на пафосе непонимания, на запрете мысли, самостоятельных раздумий о судьбах мира". Задавая при этом вопрос: «Можем ли мы рассчитывать на то, что нам удастся хоть как-то повлиять на текущие исторические процессы? "Европеизировать и гуманизировать" их?», автор не надеется сделать больше, чем то удалось Мандельштаму. Но ведь ему и другим "потерпевшим крах" гуманистам XX в. удалось немало. Это дает В. Кантору силы и смелость призывать всех к "пониманию России умом" и, более того, сделать это национальной добродетелью (см. с. 20).

В ключевом разделе "Свобода или произвол? О российской ментальности" автор констатирует: стремление к европейской свободе заканчивается российским хаосом. Уже большевизм показал, что порядок несовместим со свободой, а возможен лишь при условии жесткой власти. Хваленая "соборность" русского народа распадается в прах, как только прекращается внешний прессинг. С этим связана еще одна важная черта "русской ментальности" – то, что Соловьев называл способностью к "национальному самоотречению". Отказ от собственных прав в пользу вышестоящей власти во многом объясним "влиянием степи". В числе последствий татарского ига – отсутствие частной собственности, произвол силы, антигородская политика, коллективизм как следствие государственного принуждения, политический и психологический изоляционизм, отсутствие автономной личности. Методы управления монголами были взяты на вооружение московскими князьями, а стало быть, власть в России традиционно опирается на произвол (см. с. 47). В такой оценке Кантор вполне согласен с Чернышевским и Герценом. В прокламируемой снова и снова идее, будто степь спасла нас

от Запада, автору видится не более чем "евразийское умопомрачение" (с. 43). Киевская Русь сама была Европой, но не устояла перед степью и отказалась от всех своих прав. Отправная точка российской истории – призвание варягов, добровольная передача власти – "начало европейской ориентации" русской жизни; и принятие христианства кн. Владимиром только усилило европейскую ориентацию России (см. с. 32).

Тем не менее при всей очевидности различия между домонгольским и послемонгольским периодами, однозначное утверждение европейской направленности Киевской Руси представляется довольно спорным, равно как и тезис о том, что Степь научила нас смотреть на Запад враждебными глазами. Благодаря крещению Русь стала христианской страной, но это еще не означает, что она *ipso facto* вошла в "концерт" западноевропейских держав. Как кажется, такой вывод связан, прежде всего, с недооценкой византийского влияния на становление русской государственности и культуры. То обстоятельство, что принятие христианства произошло до разделения Церквей, является здесь не очень убедительным аргументом: близость к византийской церкви, конечно, не означала автоматически вражду с западной, католической Европой, но надолго вперед определила *тип политики*¹. В этом смысле Москва всего лишь подновила религиозно-идеологическую монархию византийского образца приемами татаро-монгольской администрации. Принятие византийского наследия Иваном III, идея "Третьего Рима", изложенная в посланиях старца Филофея к Василию III², свидетельствует вовсе не об "извращенном европеизме", не о том, что Москва хотела видеть себя "наследницей христианской Европы", а о преемстве наследования московскими государями христианско-православной империи от византийских императоров, в свою очередь наследовавших ее от римских. Латинский Запад и православный Восток в своем имперском размахе претендовали именно на вселенскость и взаимно исключали друг друга.

Подлинно революционная роль отводится в книге одному из первых "русских европейцев", Петру I. В. Кантор отказывается поддерживать славянофильский упрек: Петр-де нарушил эволюционный путь развития России. Именно решительные петровские реформы предотвратили внутренний кризис и способствовали укреплению России на международной арене. Вместе с тем, автор ухватывает и противоречивую сущность этой вестернизации: "Перенять

западные достижения, не перенимая западных принципов жизни" (с. 42). Прорубая окно в Европу, Петр, через двести лет после Ивана III, говорил: "Мы возьмем от них все, что надо, а потом повернемся к ним задом". И здесь нам вспоминаются другие слова, прозвучавшие из уст другого решительного проводника вестернизации еще через двести лет. Предлагая вместо революционной войны мир с Западом, Владимир Ленин признавался: "Как только мы наскребем достаточно денег, чтобы купить веревку, мы на этой веревке их повесим". Несмотря на значительную историческую дистанцию, две эти фразы звучат пугающе похоже, указывая на глубокую странность российской вестернизации.

Какая же альтернатива видится В. Кантору в современной действительности: империя, супердержава, или свободная страна, развивающая культуру и цивилизацию, основывающаяся на правах личности? Вездесущий произвол власти невозможно совместить с духовным и экономическим развитием индивида, свободного человека; в попытке их сочетания заключалась ошибка петровских реформ. Желание "жить как в Европе" находится в конфликте с русской ментальностью, стремлением все подчинить сиюминутным желаниям, решить все в одно мгновение. Но как создать почву, на которой может вырасти свободный человек, автор не знает (см. с. 50). Прощаясь с национальным мифом о непостижимости русской души, нельзя забыть и о двух других, "традиционных русских вопросах": "Что делать?" и "Кто виноват?".

Тема свободы и произвола продолжается в следующих разделах "Демократия как историческая проблема России", "Может ли существовать бюрократия в России?", "Проблема Антихриста", "Насилие и цивилизация в России". Свообразие демократии в России проявилось уже в эпоху Ивана Васильевича Грозного: незаконная демократия, деспотическое господство, основанное на безусловной поддержке народа. Опричнина, служившая не столько централизации государства, сколько "борьбе против самой идеи права и закона" (с. 65), предвосхищает сталинскую диктатуру. Даже в начале XX в., после учреждения Государственной Думы, в общественном сознании не могло сформироваться представление, что закон стоит выше воли, даже если это воля самодержца. Отсюда – крах российского конституционализма, напрямую связанный с ослаблением государственной власти.

Большевизм – еще одна попытка радикальной европеизации России, оказавшаяся, в отличие от подлинно революционных петровских реформ, анти-европейской авантюрой. Он трактуется в книге как отказ от европейско-христианской истории, приведший к криминальному террору и торжеству Антихриста. Впрочем, при всей убедительности оценки большевизма как нигилизма, такая демонизация авторитарной власти, выдержанная в гуманистическом и антинационалистическом духе Вл. Соловьева, приводит к существенной аберрации в восприятии этого феномена. Если национальный антихрист – безусловное зло, то выбранная логика подсказывает, что "интернационалистский марксизм" большевиков был всего лишь прикрытием для националистически-империалистической политики Советского Союза (см. с. 140). Любопытно, что такую оценку, как

¹ К принципиальному вопросу о соотношении Востока и Запада: хотя скандинавы спускались "из варяг в греки" на юг, они называли все земли вдоль этого пути до Византии "востоком", Austrweg. Это говорит о том, что уже тогда, и еще раньше, Европа состояла из двух полюсов, которые находились между собой в ситуации расталкивания. И попытки сближения, вроде униятов, приводили только к еще более отчетливому обособлению.

² "Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать" (Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI века. М., 1984. С. 441).

правило, разделяют и современные сторонники идеи империи в России, и многие либеральные историки на Западе – только с противоположными знаками. Большевики, которые совершали "октябрьский переворот" с целью создать в России плацдарм для "мировой революции" и покончить с империализмом, оказываются в чуждом им амплу русских националистов и империалистов. Такие характеристики как раз больше подходят национал-большевизму и евразийству, нежели историческому большевизму Ленина–Сталина.

Но вернемся к главной теме книги. Шанс современной России, по мнению Кантора, – в утверждении жизни на конституционных началах и создании подлинной бюрократии. Последнее могло бы вызвать недоумение, если бы не констатация автора: коррупция есть, бюрократии нет. В самом деле, бюрократия делает возможным профессиональное согласование четко очерченных и структурированных частей общественного организма. В России же мы имеем "ситуацию перманентного хаоса", "чиновничий произвол", "возвращение гигантских масс населения к номадической жизни". Одним словом, анархию. Преимущества бюрократии в цивилизованном смысле этого слова известны, известны и недостатки коррупции. Но очарованность ладно функционирующей машиной западноевропейской бюрократии не должна помешать нам увидеть, как иногда она обращается к гражданину своим нечеловеческим лицом, неподкупным и неумолимым, заставляя его уже не восхищаться, а тихо отчаиваться в своем бессилии перед всевластным законом. Да, безусловно важно стремиться жить по праву, а не "по понятиям". Но жизнь "по понятиям" – отнюдь не анархия, "безначалие". Возможно, в случае с российской "бюрократией" мы имеем дело не вообще с отсутствием права, а с *другим* правом, *другим* началом, понять экзистенциальный смысл которого – не менее важная задача для философии?

Хотя В. Кантору не всегда удается отказаться от старых идей русской философии истории, однако он признает необходимость современного, исходящего из актуального положения вещей анализа русского пути. И здесь мы наконец приходим к идее "русского европейца". Русский европейец – не просто потребитель достижений технической цивилизации, а человек, уважающий свое человеческое достоинство и участвующий в создании ценностей, отличающих европейско-христианскую культуру личности. Через идею "русского европейца" лежит "русский путь к цивилизации открытого общества".

Наиболее яркие примеры – Толстой и Тургенев ("русский Сократ из Баден-Бадена"). Благодаря последнему русская литература впервые стала частью европейской литературы. Тургенев чувствовал живую духовную связь между Россией и Германией, Россия была для него законной частью Европы. Кантор тонко подмечает, что отношение русского народа к западной культуре характеризует его способность к усвоению иных способов мышления. Такая "культурная двуязычность", "бинокулярное художественное зрение" (с. 256) – условие его нахождения и не-нахождения в собственной культуре, возможности ощущать себя представителем своей культуры и в то же время наблюдать себя с более высокой, как минимум равнозначной позиции. То, что русский европеец, как обладающая культурной суверенностью личность, уже состоялся, вселяет надежду. Не бежать из России, а критически рассматривать как Россию, так и Запад – вот к чему призывает автор. Русский европеец как "задача для России" – новый рецепт разрешения спора западников и славянофилов. Здесь сформулировано жесткое требование к российской реальности. А поскольку решение этой задачи предполагает процесс европеизации нынешней России, то возникает вопрос: действительно ли Россия стремится в "европейский дом", и как этот дом выглядит спустя 50 лет после подписания Римских договоров? Ведь очевидно, что российская бизнес-элита в Лондоне или российские представители в ПАСЕ весьма далеки от идеала "русского европейца". Вопрос этот следует обсуждать, хотя и не в рамках рецензии. В любом случае, высказанная поэтом мечта "жить в Европе, не выезжая из России" – к счастью или к несчастью – пока остается невыполнимой, всего лишь мечтой.

На недавней встрече в Москве с французским президентом Н. Саркози российский президент В. Путин процитировал "очень известное стихотворение на этот счет", предложив совершенно новое и оригинальное прочтение национального мифа о русской непостижимости: "Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить: / У ней особенная стать – / В Россию нужно просто верить"³. А стало быть, русский европеец должен снова приниматься за свою тихую критическую работу.

А.В. Михайловский

³ <http://www.rian.ru/society/20071009/83194383.html>